

ТОМАС
МАНН

✦
Смерть
в Венеции
✦



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Томас Манн

Смерть в Венеции (сборник)

«ФТМ»

«АСТ»

1898, 1903, 1912, 1930

УДК 812.112.2-3
ББК 84(4Гем)-44

Манн Т.

Смерть в Венеции (сборник) / Т. Манн — «ФТМ», «АСТ», 1898, 1903, 1912, 1930 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-100487-3

Томас Манн был одним из тех редких писателей, которым в равной степени удавались произведения и «больших», и «малых» форм. Причем если в его романах содержание тяготело над формой, то в рассказах форма и содержание находились в совершенной гармонии. «Малые» произведения, вошедшие в этот сборник, относятся к разным периодам творчества Манна. Чаще всего сюжеты их несложны – любовь и разочарование, ожидание чуда и скука повседневности, жажда жизни и утрата иллюзий, приносящая с собой боль и мудрость жизненного опыта. Однако именно простота сюжета подчеркивает и великолепие языка автора, и тонкость стиля, и психологическую глубину. Вошедшая в сборник повесть «Смерть в Венеции» – своеобразная «визитная карточка» Манна-рассказчика – впервые публикуется в новом переводе.

УДК 812.112.2-3

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-100487-3

© Манн Т., 1898, 1903, 1912, 1930

© ФТМ, 1898, 1903, 1912, 1930

© АСТ, 1898, 1903, 1912, 1930

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Паяц | 6 |
| Маленький господин Фридеман | 22 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 31 |

Томас Манн

Смерть в Венеции

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2005

© Перевод. С. Апт, наследники, 2017

© Перевод. В. Курелла, наследники, 2017

© Перевод. Н. Ман, наследники, 2017

© Перевод. М. Рудницкий, 2017

© Перевод. Е. Шукшина, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

* * *

Паяц

После всего, что случилось, под занавес, как, ей-богу, достойный финал всего этого жизнь, моя жизнь – «всё это», скопом – внушает мне одно отвращение; оно душит меня, преследует, приводит в содрогание, давит, и, как знать, рано или поздно, возможно, даст необходимый толчок, чтобы мне подвести черту под этой до неприличия смехотворной комедией и убраться отсюда подобру-поздорову. И тем не менее вполне вероятно, я еще какое-то время протяну, еще три месяца или шесть буду продолжать есть, спать, чем-то заниматься – так же машинально, упорядоченно и безмятежно, как протекала моя внешняя жизнь эту зиму – в чудовищном противоречии опустошительному процессу распада внутри. Внутренние переживания человека тем сильнее, тем острее, чем уединеннее, безмятежнее, бесстрастнее он живет внешне – разве нет? Но делать нечего: жить приходится; и если ты отказываешься быть человеком действия и уходишь в самый мирный затвор, то жизненные неурядицы обрушатся на тебя изнутри и тебе неминуемо придется проявить характер там, будь ты хоть героем, хоть шутком.

Я приготовил эту чистую тетрадь, чтобы рассказать свою «историю». Интересно, зачем? Чтоб хоть чем-то заняться? Или от страсти к психологии? Чтобы испытать от необходимости всего этого удовольствие? Ведь необходимость дает такое утешение! Или чтобы получить секундное наслаждение от какого-то превосходства над самим собой, чего-то вроде равнодушия? Ибо равнодушие есть своеобразное счастье, уж я-то знаю...

I

Он в такой глуши, этот старинный городок с узкими петляющими улицами, над которыми возвышаются высокие фронтоны, с готическими церквями, фонтанами, хлопотливыми, солидными, простыми людьми и большим поседевшим от старости патрицианским домом, где я вырос.

Дом стоял в центре города и пережил четыре поколения состоятельных, уважаемых купцов. Над входной дверью значилось «Ora et labora»¹, и когда вы оставляли позади широкую каменную прихожую, которую сверху огибала деревянная беленая галерея и поднимались по широкой лестнице, нужно было еще пройти просторную переднюю и маленькую темную колоннаду, лишь тогда, открыв одну из высоких белых дверей, вы оказывались в гостиной, где мать играла на рояле.

Она сидела в полумраке, поскольку окна были задернуты тяжелыми темно-красными шторами, и белые фигурки богов на обоях, словно двигаясь, отделяясь от голубого фона, прислушивались к тяжелым, глубоким первым звукам одного из шопеновских ноктюрнов, которые она любила больше всего и играла очень медленно, словно чтобы до дна насладиться печалью каждого аккорда. Рояль был старый, и полноты звучания несколько поубавилось, но при помощи педали, приглушавшей высокие ноты, что они напоминали потускневшее серебро, исполнитель мог добиться необычайно странного воздействия.

Сидя на массивном дамастовом диване с высокой спинкой, я слушал и смотрел на мать – невысокая, хрупкого сложения, обычно в платье из мягкой светло-серой ткани. Узкое лицо было не красиво, но под расчесанными на пробор, слегка волнистыми, робко-белокурыми волосами оно казалось тихим, нежным, мечтательным, детским, и, чуть склонив голову над клавишами, мать напоминала трогательных ангелочков, что часто прилежно перебирают струны гитары у ног Мадонны на старых картинах.

¹ «Молись и трудись» (лат.).

Когда я был маленький, мать своим тихим, затаенным голосом нередко рассказывала мне сказки, каких не знал никто, или, положив мне руки на голову, что лежала у нее на коленях, просто сидела молча, неподвижно. Эти часы представляются мне счастливейшими и покойнейшими в жизни. Она не сидела и, как мне виделось, не старела; только облик становился все нежнее, лицо все уже, тише, мечтательнее.

Отец же мой был высокий крупный господин в черном сюртуке тонкого сукна и белом жилете, где висело золотое пенсне. Между короткими бакенбардами с проседью кругло и твердо выступал гладко выбритый, как и верхняя губа, подбородок, а между бровями навечно залегли две глубокие вертикальные складки. Это был могучий мужчина, имевший большое влияние на общественные дела. Я видел, как от него уходили: одни – легко, неслышно дыша, с лучистым взором, другие – надломленные, совсем отчаявшиеся. Изредка мне, а бывало, и матери, и обеим моим старшим сестрам случалось присутствовать при подобных сценах: то ли отец желал внушить мне честолюбивые помыслы добиться в жизни того же, что и он, то ли, как недоверчиво думал я, он нуждался в публике. Он имел такую манеру, откинувшись на стуле и заложив руку за отворот сюртука, смотреть вслед ошастливленному или уничтоженному человеку, что я уже в детстве питал подобные подозрения.

Я сидел в углу, смотрел на отца и мать и, будто выбирая между ними, размышлял, как лучше провести жизнь – в мечтательных чувствованиях или действуя и властвуя. Наконец взгляд мой останавливался на мирном лице матери.

II

Не сказать, что я внешне походил на нее, поскольку занятия мои большей частью не были мирными и бесшумными. Вспоминаю одно, которое я безоглядно предпочитал общению со сверстниками и их играм и которое и сегодня еще, когда мне, ну, предположим, тридцать, дарит меня весельем и удовольствием.

Речь идет о большом, прекрасно оснащенном кукольном театре; с ним я один-одинешенек запирался у себя и ставил престранные музыкальные пьесы. Комната моя на третьем этаже, где висели два темных портрета, на которых были изображены предки с валленштейновой бородкой, погружалась во мрак, к театру придвигалась лампа: искусственное освещение представлялось необходимым для усиления настроения. Так как сам я был капельмейстером, то занимал место перед самой сценой и водружал левую руку на большую круглую картонную коробку, составлявшую единственный видимый инструмент оркестра.

Затем появлялись артисты, участвовавшие в действе помимо меня, их я рисовал пером и чернилами, вырезал и наклеивал на реечки, чтобы они могли стоять. Это были мужчины в накидках и цилиндрах и женщины невысказанной красоты.

– Добрый вечер, господа! – говорил я. – Надеюсь, все чувствуют себя прекрасно? Я готов, нужно было отдать еще несколько распоряжений. А теперь прошу в костюмерную.

Все отправлялись в костюмерную, что находилась за сценой, и скоро возвращались совершенно преобразившиеся, красочными театральными персонажами. Через дырочку, прорезанную мною в занавесе, они наблюдали, как заполняется зал. Заполнен он был и впрямь недурно, и я, дав звонок к началу спектакля, поднимал дирижерскую палочку и какое-то время наслаждался вызванной этим взмахом полной тишиной. Вскоре следовал еще один взмах, раздавалась зловещая глухая барабанная дробь, являвшаяся началом увертюры (ее я исполнял левой рукой на картонной коробке), вступали трубы, кларнеты, флейты (их характерный звук я бесподобно воспроизводил голосом), и музыка играла до тех пор, пока под мощное крещендо не поднимался занавес и не начиналась драма в темном лесу или роскошной зале.

Наброски делались в голове, но детали приходилось импровизировать, и в страстных, сладких ариях, под трели кларнетов и гром картонной коробки звучали странные, полнозвуч-

ные стихи, исполненные высоких, дерзновенных слов, иногда рифмованные, но редко имевшие внятное содержание. Однако опера продолжалась, я пел и изображал оркестр, левой рукой барабанил, а правой с превеликой осторожностью управлял действующими фигурами и всем остальным, так что в конце каждого акта раздавались восторженные аплодисменты, приходилось снова и снова открывать занавес, а порой капельмейстер даже бывал вынужден поворачиваться и гордо, но вместе с тем польщенно, изъявлять комнате благодарность.

Право, когда после столь напряженного представления я с разгоряченной головой убирал театр, меня переполняло счастливое изнеможение, какое должен испытывать крупный художник, победоносно завершивший труд, в который он вложил все свое умение. До тринадцати-четырнадцати лет эта игра оставалась моим любимым занятием.

III

Как проходило мое детство и отрочество в большом доме, где в нижних помещениях вел дела отец, наверху мать мечтала в кресле или тихонько, задумчиво играла на пианино, а обе сестры, на два и три года старше, возились на кухне или у шкафов с постельным бельем? Помню очень мало.

Несомненно одно: будучи необычайно резвым мальчиком, я более выгодным происхождением, эталонным передразниванием учителей, бесчисленными разнообразными затеями и довольно изысканными речевыми оборотами снискал уважение и любовь одноклассников. Однако на уроках дела шли неважно, я слишком увлеченно ловил в жестах учителей комичное, чтобы быть внимательным к остальному, а дома голова была слишком забита оперным материалом, стихами и всяческим пестрым вздором, чтобы заниматься всерьез.

– Фу, – говорил отец, закладывая руку за отворот сюртука и читая дневник, который я после обеда приносил в гостиную. Складки у него между бровей становились глубже. – Не радуешь ты меня, вот тебе мое слово. Что же из тебя выйдет, скажи на милость? Никогда не выбьешься в люди...

Это удручало, однако не мешало тому, чтобы я уже после ужина читал родителям и сестрам написанное после обеда стихотворение. Отец при этом смеялся так, что пенсне подпрыгивало у него на белом жилете.

– Какая чепуха! – то и дело восклицал он.

Мать же притягивала меня к себе, убирала со лба волосы и говорила:

– Совсем неплохо, мой мальчик. Я считаю, там есть пара удачных мест.

Позже, став немного старше, я как-то умудрился самостоятельно выучиться играть на пианино. Поскольку черные клавиши приводили меня в особенный восторг, я начал с фадиез-мажорных аккордов, затем принялся искать переходы в другие тональности и постепенно, проводя много часов за роялем, добился в гармонических чередованиях, которые были лишены что такта, что мелодии, известной сноровки, вкладывая в эти мистические перебивы как можно больше чувства.

Мать говорила:

– Его пианизм выдает вкус.

И она устроила так, что мне наняли учителя, занятия с которым продолжались полгода, так как я, право слово, не горел желанием учиться ставить пальцы и разбирать такты.

В общем, годы шли, и, несмотря на беспокойство, которое причиняла мне школа, я рос необычайно жизнерадостным. Веселый, всеми любимый, я вращался в кругу знакомых и родственников и, желая казаться обаятельным, был находчив и обаятелен, хотя каким-то инстинктом уже начинал презирать всех этих сухих, лишенных фантазии людей.

IV

Однажды после обеда – мне было где-то восемнадцать, предстоял переход в старшие классы – я подслушал короткий разговор родителей, которые сидели за круглым журнальным столиком в гостиной и не знали, что сын в смежной столовой праздно рассматривает бледное небо над островерхими домами. Разобрав свое имя, я потихоньку подошел к белой приоткрытой двустворчатой двери.

Отец, откинувшись в кресле и перебросив ногу на ногу, одной рукой придерживал на коленях биржевые ведомости, а другой медленно поглаживал подбородок между бакенбардами. Мать сидела на диване, склонив тихое лицо к пальцам. Между ними стояла лампа. Отец сказал:

– Думаю, в ближайшее время его нужно забрать из школы и отдать в обучение на какую-нибудь крупную фирму.

– О, такой одаренный ребенок, – расстроено ответила мать, подняв глаза.

Отец мгновение помолчал и старательно сдул пылинку с сюртука. Затем пожал плечами и развел руками, выставив ладони в сторону матери:

– Если ты полагаешь, дорогая, что для занятий торговлей не нужен никакой талант, это воззрение ошибочно. Иначе в школе, как я, к моему сожалению, все больше и больше убеждаюсь, мальчик не дойдет ни до чего. Его талант, о котором ты говоришь, – своего рода талант паяца. Спешу прибавить, я такое вовсе не недооцениваю. Когда хочет, он может быть обаятельным, умеет общаться с людьми, забавлять их, льстить, имеет потребность нравиться и добиваться успехов; с подобной предрасположенностью уже не один составил свое счастье, и, обладая ею, ввиду его безразличия ко всему остальному, он вполне способен поставить торговое дело на широкую ногу.

Тут отец удовлетворенно откинулся, достал из сигаретницы сигарету и медленно закурил.

– Ты, разумеется, прав. – И мать печальным взглядом обвела комнату. – Я часто думала и в известной степени надеялась, что из него выйдет художник... Это верно, на его музыкальные способности, оставшиеся неразвитыми, пожалуй, уповать нельзя, но ты заметил, что недавно, посетив художественную выставку, он начал немного рисовать? Совсем неплохо, как мне кажется...

Отец выпустил дым, выпрямился в кресле и коротко ответил:

– Это все клоунада и *blague*². Впрочем, полагалось бы поинтересоваться его собственными желаниями.

Ну а какие же у меня, по-вашему, могли быть желания? Перспектива изменить внешнюю жизнь казалась весьма радужной, я с серьезным лицом изъявил готовность оставить школу, чтобы стать купцом, и поступил учеником на крупное лесоторговое предприятие господина Шлифогта, внизу, у реки.

V

Перемена, разумеется, стала исключительно внешней. Мой интерес к крупному лесоторговому предприятию господина Шлифогта был крайне незначителен, я сидел на вращающемся стуле под газовой лампой в темной, тесной конторе такой же далекий, отсутствующий, как когда-то и за школьной партой. Только забот стало меньше, вот и вся разница.

² Шутовство (*фр.*).

Господин Шлифогт, дородный мужчина с красным лицом и седой, жесткой шкиперской бородкой, уделял мне мало внимания, поскольку в основном пропадал на лесопилке, располагавшейся довольно далеко от конторы и склада, служащие же обращались со мной уважительно. Дружеские отношения связали меня лишь с одним из них, одаренным и веселым молодым человеком из хорошей семьи, которого я знал еще по школе. Звали его Шиллинг. Он, как и я, надо всеми посмеивался, но помимо этого проявлял ревностный интерес к лесоторговле; и дня не проходило, чтобы он не выразил твердого намерения тем или иным способом разбогатеть.

Я же машинально исполнял свои обязанности, а в остальном бродил по складу между наваленными досками и рабочими, через высокий деревянный забор смотрел на реку, вдоль которой ехали товарные поезда, и думал при этом о театральном представлении, концерте, которые посетил, или о книге, которую читал.

Читал я много, читал все, что попадалось под руку, способность моя к восприятию была немалой. Каждую поэтическую личность я вбирал ощущением; и я думал, чувствовал в стиле книги до тех пор, пока на меня не начинала оказывать влияние следующая. В комнате, где когда-то стоял кукольный театр, я теперь сидел с книгой на коленях, поднимая глаза на портреты предков, чтобы еще раз насладиться звучанием покорившего меня языка, и нутро при этом переполняло неплодотворный хаос из полумыслей и полуобразов.

Сестры одна за другой вышли замуж, и я, когда не бывал занят на фирме, часто спускался в гостиную, где несколько хворавшая мать, чье лицо становилось все более детским, все более мирным, теперь, как правило, сидела совсем одна. Она играла мне Шопена, я показывал ей какое-нибудь новое гармоническое сочетание, а потом она спрашивала меня, доволен ли я профессией, счастлив ли... Какие могли быть сомнения в том, что я счастлив.

Мне было чуть за двадцать, положение в жизни – лишь временное, я не чурался мысли, что вовсе не обязан провести все годы своей жизни у господина Шлифогта или на каком-нибудь еще более крупном лесоторговом предприятии, что в один прекрасный день я обрету свободу, оставлю город с фронтонами и устроюсь где-нибудь в соответствии со своими склонностями: стану читать хорошие, изящно написанные романы, ходить в театр, понемногу заниматься музыкой... Счастлив? Но я отлично питался, прекрасно одевался и уже рано, в школе еще, видя, как бедные, плохо одетые товарищи по привычке горбятся и с какой-то льстивой робостью добровольно признают меня и мне подобных своими господами и законодателями мод, с весельем в сердце сознавал, что принадлежу к высшим, богатым, к тем, кому завидуют, кто имеет полное право смотреть на бедных, несчастных и завистливых с благожелательным презрением, сверху вниз. Как же мне не быть счастливым? Пусть все идет как идет. И лучше всего было, не сближаясь, с чувством превосходства, весело общаться с этими родственниками и знакомыми, над чьей ограниченностью я потешался и кого в то же время из желания нравиться искусно очаровывал, и блаженствовать в лучах смутного почтения, которое все они мне выказывали, при этом опасливо чувствуя в моей натуре что-то противоположенное и из ряда вон.

VI

Перемены начали происходить с отцом. Когда он в четыре появлялся за столом, складки между бровями у него день ото дня казались глубже, и он уже не закладывал импозантным жестом руку за отворот сюртука, а производил впечатление человека подавленного, нервного, потерянного. Как-то он сказал мне:

– Ты достаточно взрослый, чтобы разделить со мной заботы, подрывающие мое здоровье. Кроме того, я обязан ознакомить тебя с ними, дабы ты не предавался ложным ожиданиям в связи с дальнейшим положением в жизни. Как тебе известно, замужество сестер стоило нема-

лых жертв. Недавно фирма понесла убытки, значительно уменьшившие ее капитал. Я стар, утратил душевные силы и не думаю, что положение дел существенно изменится. Прошу тебя уяснить, что полагаться ты можешь только на себя...

Он сказал это примерно за два месяца до своей смерти. Однажды его нашли в кресле кабинета – он был желт, разбит параличом, что-то лепетал, а неделю спустя весь город принимал участие в его похоронах.

Мать, мирная, нежная, сидела теперь на диване у круглого столика в гостиной, и глаза ее обычно были закрыты. Когда мы с сестрами пытались за ней ухаживать, она кивала, иногда улыбалась, не убирая руки с колен, и продолжала молчать, неподвижно, большими, отсутствующими и печальными глазами глядя на какого-нибудь бога с обоев. Когда господа в сюртуках приходили с докладами о ходе ликвидации фирмы, она снова кивала и опять закрывала глаза. Она больше не играла Шопена, а когда время от времени поглаживала волосы, то бледная, нежная, усталая рука ее дрожала. Не прошло и полугода после смерти отца, как она слегла и умерла, без единого стога, безо всякой борьбы за жизнь...

Вот все и кончилось. Что еще удерживало меня здесь? Дела худо-бедно уладили, выяснилось, что моя доля наследства составила примерно сто тысяч марок; этого было довольно, чтобы сделаться независимым – ото всего мира, тем более что меня по какой-то несущественной причине признали негодным к воинской службе.

Ничто более не связывало меня с людьми, среди которых я вырос, чьи глаза смотрели на меня все неприязненнее и изумленнее, чьи воззрения были слишком однобоки, чтобы я мог испытывать желание под них подладиться. Надо сказать, эти люди неплохо меня знали, знали как совершенно бесполезного человека, каким я знал себя и сам. Но поскольку мне хватало цинизма, фатализма, чтобы весело смотреть на свой, по выражению отца, «талант паяца», и радостной воли наслаждаться жизнью по собственному усмотрению, довольства собой у меня было хоть отбавляй.

Я затребовал свое небольшое состояние и, почти ни с кем не простившись, покинул город, дабы сначала отправиться в путешествие.

VII

Три следующих года, когда я с жадной восприимчивостью отдавался бесконечно новым, меняющимся, самым разнообразным впечатлениям, вспоминаю словно прекрасный, далекий сон. Как давно среди снегов и льдов я отмечал Новый год у монахов на Симплоне, в Вероне бродил по пьяцца Эрбе, с Борго Сан-Спирито впервые зашел под колоннаду Святого Петра и мои оробевшие глаза потерялись на неимоверной площади, с Корсо Витторио-Эммануэле смотрел вниз на мерцающий белизной Неаполь и далеко в море видел расплывающийся в голубой дымке грациозный силуэт Капри... А на самом деле прошло немногим более шести лет.

О, я жил очень осторожно, полностью по средствам – в простых частных комнатах, недорогих пансионатах, но поскольку поначалу мне было трудно избавиться от привычек зажиточного бюргера, да и из-за частых переездов, лишние расходы оказались все же неизбежны. Я выделил на странствия пятнадцать тысяч марок моего капитала, однако в эту сумму не уложился.

Кстати, с людьми, встречавшимися в путешествиях, мне было хорошо – незаинтересованные, сами же часто весьма интересные создания, для кого я, правда, не являлся предметом почитания, как для прежнего моего окружения, но мне не приходилось опасаться и неприязненных взглядов и вопросов.

Со своими светскими талантами я порой пользовался в пансионатах искренним расположением, в этой связи вспоминаю одну сцену в салоне пансионата «Минелли» в Палермо. В кругу разновозрастных французов я, активно используя мимический арсенал актеров трагического

амплуа, мелодекламацию и бурные гармонии, с ходу начал импровизировать на пианино музыкальную драму «Рихарда Вагнера», и стоило мне под неистовые аплодисменты завершить ее, как с места сорвался пожилой господин, почти уже без волос на голове, с тощими белыми бакенбардами, елозившими по воротнику серой дорожной куртки. Он схватил меня за руки и со слезами на глазах воскликнул:

– Но это поразительно, сударь! Поразительно, дорогой вы мой! Клянусь вам, за тридцать лет я не получал более изысканного удовольствия! Ах, вы ведь позволите мне поблагодарить вас от всего сердца, не так ли? Но вам просто необходимо стать актером или музыкантом!

Нужно признаться, в таких случаях я испытывал нечто вроде высокомерия гениальности, свойственной крупным художникам, в дружеском кругу снисходящих до того, чтобы прямо на столе нарисовать простенькую, но остроумную карикатуру. После ужина, однако, я проводил в салоне одинокие и печальные часы, извлекая из инструмента размеренные аккорды и полагая, что вкладываю в них настроение, пробуждаемое во мне видом Палермо.

Из Сицилии я коротко наведалься в Африку, затем сразу же поехал в Испанию и там-то, недалеко от Мадрида – дело было в сельской местности, – в один из мрачных, дождливых зимних дней впервые испытал желание вернуться в Германию, более того – необходимость. Ибо, не говоря уже о том, что я начал тосковать по спокойной, упорядоченной, оседлой жизни, было несложно подсчитать, что к возвращению я при всей экономии израсходую двадцать тысяч марок.

Я не слишком оттягивал момент, чтобы потихоньку пуститься в обратный путь через Францию, где, подолгу задерживаясь в некоторых городах, провел приблизительно полгода, и с печальной отчетливостью вспоминаю еще летний вечер, когда въехал на вокзал одной средненемецкой резиденции, которую уже осматривал в начале путешествия. Теперь я был чуть более образован, обладал определенным опытом, знаниями, и меня переполняла ребяческая радость оттого, что я наконец-то получил возможность в беззаботности и независимости, с удовольствием ограничившись моими скромными средствами, устроить здесь наконец свою неомраченную и созерцательную жизнь.

Было мне тогда двадцать пять лет.

VIII

Место оказалось выбрано недурно. Пристойный город, еще без слишком шумной сутолоки метрополии, без слишком противной деловой возни, а с другой стороны, несколько довольно больших старых площадей и не лишенная оживленности и элегантности уличная жизнь. В окрестностях попадались симпатичные места, но я всегда предпочитал со вкусом разбитую эспланаду на холме Жаворонков, узком протяженном отроге, к которому прислонилась большая часть города и с которого можно любоваться широкой панорамой домов, церквей, реки с плавными излучинами и дальних просторов. В некоторых ракурсах, а особенно когда чудесным летним вечером дает концерт военная капелла и снуют экипажи и прохожие, вспоминается Пинчо. Но мне еще предстоит вернуться к этой эспланаде...

Трудно представить, с каким хлопотливым наслаждением я обустроивал просторную комнату, вместе с прилегающей спальней, снятую мной почти в центре города, в оживленном квартале. Хоть родительская обстановка большей частью перешла сестрам, мне все же досталось необходимое: солидная прочная мебель, доставленная вместе с моими книгами и обоими портретами предков, но в первую очередь – старый рояль, отписанный мне матерью.

Должен признаться, когда все было расставлено и разобрано, когда скопившиеся в путешествии фотографии украсили стены, тяжелый стол красного дерева и пузатый комод и я, предавшись праздности и уюту, опустился в одно из кресел у окна, переводя взгляд с улицы на новую квартиру и обратно, испытанное мною удовольствие было немалым. И все же – нико-

гда не забуду этого мгновения, – все же помимо довольства и уверенности во мне зашевелилось нечто иное, какое-то крохотное ощущение беспокойства, едва слышное сознание некоего негодования и противления мощной угрозе... слегка гнетущая мысль, что положение мое, до сих пор бывшее лишь временным, теперь нужно считать определенным и неизменным...

Не скрою, эти и подобные чувства всплывали снова и снова. Но возможно ли избежать известных вечеров, когда смотришь в сгущающиеся сумерки, а то и в медленный дождь и становишься жертвой припадков мрачного провидения? В любом случае было несомненно, что будущее мое обеспечено. Круглую сумму в восемьдесят тысяч марок я доверил городскому банку, проценты – Господи, какие скверные времена! – составили где-то шестьсот марок в квартал, позволяя мне, таким образом, жить пристойно, снабжать себя чтением, иногда посещать театр, не исключая и чуть более неприятного препровождения времени.

Отныне дни мои проходили сообразно идеалу, издавна бывшему моею целью. Поднимался я около десяти, завтракал и до полудня проводил время то за пианино, то за чтением литературного журнала или книги. Затем брел в ресторанчик, куда заходил регулярно, обедал, после чего предпринимал более длительную прогулку по улицам, по пассажу, окрестностям, на холм Жаворонков. Возвратившись домой, снова принимался за утренние занятия: читал, музицировал, иногда даже развлекался чем-то вроде рисования или писал подробное письмо. Если после ужина не шел в театр или на концерт, то сидел в кафе и до отхода ко сну читал газеты. Но день выходил чудесным, имел отрадное наполнение, когда за пианино мне удавался мотив, казавшийся мне новым, красивым, когда из прочитанной повести, увиденной картины я выносил устойчивое нежное настроение...

Не умолчу, впрочем, о том, что, выстраивая распорядок дня, к делу я подходил не без определенного идеализма, всерьез намереваясь придавать дням возможно больше «наполнения». Питался я скромно, имел, как правило, всего один костюм, короче, осмотрительно ограничивал телесные потребности, чтобы, с другой стороны, быть в состоянии уплатить высокую цену за хорошее место в опере или концерте, купить литературную новинку, посетить ту или иную художественную выставку...

Но дни проходили, из них складывались недели, месяцы – скука? Признаюсь, не всегда попадаетея в руки книга, способная наполнить целый ряд часов; а в остальном ты, бывает безо всякого успеха, пытаешься фантазировать на пианино, сидишь у окна, куришь сигареты, и тебя неотвратимо окутывает чувство отвращения к миру и самому себе; снова тобой овладевает боязнь, злосчастная боязнь, и ты вскакиваешь, бежишь на улицу, чтобы весело, как заправский счастливец, пожимая плечами, поглазеть на служащих и рабочих людей, духовно и материально слишком бедных для праздности и наслаждения.

IX

Способен ли вообще двадцатисемилетний человек всерьез верить в окончательную незыблемость своего положения, пусть она и лишь предполагается? Птичий щебет, крошечный фрагмент небесной лазури, улетучившийся ночной сон – все сгодится, чтобы излить в сердце внезапные потоки смутной надежды и наполнить его большим праздничным ожиданием непредвиденного счастья... Я брел изо дня в день – созерцательно, бесцельно, сосредоточившись на какой-либо мелкой надежде – даже если речь шла всего-навсего о дне выхода в свет развлекательного журнала, – в истовой убежденности, что я счастлив, и время от времени несколько утомляясь одиночеством.

Право, не так уж редко выпадали часы, когда меня охватывала досада от нехватки общения с людьми, – ибо нужно ли объяснять эту нехватку? У меня не было никаких связей с хорошим обществом, а также с первыми и вторыми кругами города; дабы влиться в ряды золотой

молодежи в качестве *fêtard*'а³, мне, ей-богу, просто не хватало средств, а с другой стороны – богема? Но я получил хорошее воспитание, ношу чистое белье и нештопанный костюм, у меня нет ни малейшего желания за липким от абсента столом вести анархистские разговоры с неряшливыми юношами. Одним словом, не находилось ни одного четко очерченного общественного круга, которому я мог бы принадлежать по праву очевидности, а знакомства, которые тем или иным образом завязывались сами по себе, являлись редкими, поверхностными и прохладными, – честно признаюсь, по моей вине, поскольку я и тогда вел себя сдержанно, с чувством неуверенности и неприятным сознанием, что даже какому-нибудь опустившемуся художнику не смогу коротко, ясно, с последующим признанием с его стороны объяснить, кто я и что.

Впрочем, я ведь порвал с «обществом», отказался от него, решив стать свободным, никак не служить ему, идти своим путем, и если уж мне для счастья нужны были бы «люди», то пришлось бы спросить себя: а не был бы я в таком случае занят сейчас обогащением во благо общества в ипостаси крупного дельца, вызывая всеобщую зависть и уважение?

Тем временем... тем временем! Вышло так, что философское уединение стало раздражать меня слишком сильно и в конечном счете никак не хотело согласовываться с моим представлением о «счастье», с сознанием и убежденностью в том, что я счастлив, потрясти которые – какие сомнения! – было просто-напросто невозможно. Не быть счастливым, быть несчастным – да разве такое вообще мыслимо? Немыслимо. И тем самым вопрос казался решенным, пока снова не наступали часы, когда это «сидение в себе», заключенность, выключенность переставали казаться мне чем-то нормальным, а начинали казаться чем-то совсем ненормальным и доводили до ужасающей мрачности.

«Мрачность» – это ли свойство счастливого человека? Я вспоминал о жизни дома, в узком кругу, где я кружился, полный радостного сознания своих гениально-художественных задатков – общительный, обаятельный, с глазами, полными веселости, насмешки и благожелательной ко всем снисходительности, странноватый, по всеобщему мнению, но тем не менее всеми любимый. Тогда я был счастлив, хоть и приходилось работать на крупном лесоторговом предприятии господина Шлифогта, а теперь? А теперь?..

Но выходила крайне интересная книга, новый французский роман; я позволял себе приобрести его с намерением неторопливо, уютно насладиться в кресле. Еще триста страниц, полные вкуса, остроумия, тонкого искусства! Ах, я устроил свою жизнь к полному своему удовольствию! Разве я не счастлив? Смешно даже спрашивать, просто смешно, вот и все...

Х

Еще один день кончился, день, который, слава богу, нельзя упрекнуть в отсутствии наполнения; наступил вечер, шторы на окнах задернуты, на письменном столе горит лампа, уже почти полночь. Можно пойти спать, но ты, развалившись в кресле и положив руки на колени, упорно продолжаешь сидеть, смотреть в потолок и покорно следить за тем, как тебя буравит и пожирает какая-то полунеопределенная боль, которую не удастся отогнать.

Всего пару часов назад я находился под воздействием большого искусства, одного из тех жутких, жестоких творений, которые с порочной напыщенностью кричаще гениального дилетантизма сотрясают, оглушают, истязают, дают блаженство, повергают в прах... Нервы еще дрожат, фантазия взбаламучена, волнами во мне плавно вздымаются редкие ощущения – тоски, религиозного рвения, триумфа, мистического мира, – и появляется потребность, все подстегивающая их, желающая их выстегнуть, потребность выразить эти ощущения, поделиться ими, показать, «что-нибудь из этого сделать»...

³ Жуир, бонвиван (*фр.*).

А что, если бы я в самом деле был художником, способным выразить себя в звуке, слове или зрительном образе, – а честно говоря, лучше во всем сразу? Но ведь это правда, я могу повсякому! Как удачный пример – могу сесть за рояль и в тихой комнатке прекрасно излить свои чудесные чувства, и в общем-то этого мне должно бы хватать – ведь, чтобы быть счастливым, я, кажется, не нуждаюсь в «людях»... Предположим, все так и есть! Но вот если допустить, что мне чуть-чуть важен успех, слава, признание, похвалы, зависть, любовь?... Ей-богу, вспоминая хоть ту сцену в салоне Палермо, должен признать, сейчас подобное несравненно благотворно подбодрило бы меня.

По здравом размышлении, не могу не согласиться с софистической и смехотворной разницей – между понятиями «внутреннее» и «внешнее» счастье. «Внешнее счастье» – что же это, собственно, такое? Бывают люди, баловни судьбы, счастье которых, судя по всему, состоит в гении, а гений – в счастье, люди света, которые легко, прелестно, обаятельно порхают по жизни с отражающимся, играющим в глазах солнцем; а вокруг них все теснятся, ими все восхищаются, завидуют, хвалят, любят, поскольку даже зависть не в состоянии их ненавидеть. Они же смотрят в жизнь, как дети, насмешливо, избалованно, надменно, с солнечной приветливостью, уверенные в своем счастье и гении, словно иначе и быть не может...

Что до меня, признаю свою слабость: я был бы не прочь принадлежать к числу таких людей, и мне все хочется думать – не важно, по праву или нет, – будто некогда я к ним и принадлежал, совершенно «не важно», ибо, давайте уж начистоту: все дело в том, за кого человек себя держит, как себя подает, кем у него хватает уверенности подать себя!

Может быть, все так и есть: я на самом деле отверг «внешнее счастье», отказавшись от службы «обществу», устроив свою жизнь без «людей». Однако в моем довольстве моей жизнью, само собой разумеется, нельзя усомниться ни на миг, в нем не возможно усомниться, никто не вправе в нем усомниться, ибо, повторю, и повторю с отчаянной настойчивостью: я хочу и должен быть счастлив! Понимание «счастья» как своего рода заслуженного вознаграждения, таланта, возвышенности, обаяния и понимание «несчастья» как уродства, чего-то презренного, что боится вылезти на свет, одним словом, чего-то жалкого, во мне, если честно, слишком глубоки, чтобы я мог уважать себя, будучи несчастлив.

Как же я могу позволить себе быть несчастным? Какую же роль в таком случае мне играть перед самим собой? Разве не пришлось бы мне тогда схорониться во тьме какой-нибудь летучей мышью, сычом и с завистью высматривать «людей света», обаятельных счастливых? Мне пришлось бы возненавидеть их той ненавистью, которая есть не что иное, как отравленная любовь, – и презирать себя!

«Схорониться во тьме»! Ах, и сразу вспоминается все, что я думал, чувствовал в течение стольких месяцев в связи со своей выключенностью и «философским уединением»! И снова дает о себе знать страх, злосчастный страх! И сознание некоего негодования перед лицом мощной угрозы...

Несомненно, нашлось какое-то утешение, отвлечение, обезболивающее средство и на этот раз, и на следующий, и потом. Но оно возвращалось, все это, тысячи раз возвращалось на протяжении месяцев и лет.

XI

Бывают осенние дни, подобные чуду. Лето ушло, за окном давно желтеет листва, на улицах уже много дней свистит по углам ветер, а в сточных канавах бурлят грязноватые ручьи. Ты уже смирился, ты уже, так сказать, подсел к печке, чтобы перепустить зиму, но в одно прекрасное утро, проснувшись, не веря своим глазам, замечаешь, как сквозь щель между шторами в комнату пробивается узкая полоса сверкающей синевы. В полном изумлении ты вскакиваешь с постели, открываешь окно, тебе навстречу мчится волна трепещущего солнечного света, и

одновременно сквозь уличный шум ты различаешь болтливый, задорный птичий щебет, а у самого на душе так, будто вместе со свежим и легким воздухом первого октябрьского дня ты вдыхаешь несравненно сладкую, многообещающую пряность, вообще-то свойственную майским ветрам. Весна, совершенно очевидно, что весна, вопреки календарю, и ты набрасываешь одежду, торопясь под мерцающее небо, на улицы, на простор...

Такой нечаянный, примечательный день выдался месяца четыре тому назад – сейчас у нас начало февраля, – и в этот день я увидел нечто удивительной прелести. Я вышел до девяти и, исполненный легкого, радостного настроения и неопределенной надежды на перемены, неожиданности и счастье, взял курс на холм Жаворонков. Я поднялся справа и прошел вдоль всего хребта, не отклоняясь от края главной эспланады, низенькой каменной рампы, чтобы в продолжение всего пути, занимающего около получаса, беспрепятственно видеть ступенчато спускающийся город и реку, излучины которой блестели на солнце, а за ними в солнечной дымке растворялся холмистый зеленый ландшафт.

Наверху еще почти никого не было. Вдоль дорожки одиноко стояли скамейки, то и дело из-за деревьев, мерцая белизной в солнечных лучах, выглядывали статуи, хоть время от времени на них плавно падали увядшие листья. Тишину, к которой я прислушивался при ходьбе, устремив взгляд в сторону, на светлую панораму, ничто не нарушало до самого края холма, где дорожка между старыми каштанами уходила вниз. Тут позади послышался быстро приближающийся стук лошадиных копыт и хруст гравия под колесами экипажа, которому где-то посередине спуска мне пришлось уступить дорогу. Я отошел в сторонку и остановился.

То была маленькая, совсем легкая двухколесная охотничья коляска, запряженная двумя крупными, лоснящимися, энергично фыркающими гнедыми. Поводья держала молодая дама лет девятнадцати-двадцати, возле которой сидел пожилой господин внушительной, благородной наружности с седыми, зачесанными вверх усами *à la gusse*⁴ и густыми седыми бровями. Слуга в простой черно-серебристой ливрее украшал собою заднее сиденье.

В начале спуска лошади перешли на шаг, так как одна из них занервничала и забеспокоилась. Она сдвинулась влево в дышле, пригнула голову к груди и с таким судорожным упорством переставляла стройные ноги, что пожилой господин, несколько встревожившись, наклонился, дабы элегантно левой рукой в перчатке помочь молодой даме натянуть поводья. Управление коляской, судя по всему, было поручено ей на время и полушутя, по крайней мере она правила с какой-то детской важностью и вместе с тем неопытно. Пытаясь успокоить боязливое, упирающееся животное, она в серьезном негодовании слегка повела головой.

Девушка была стройной шатенкой. Волосы, повыше затылка стянуты в тугий узел, на лбу и висках лежали легко, свободно, так что виднелись отдельные светло-каштановые пряди, их покрывала круглая темная соломенная шляпка, украшенная лишь тонким плетением из лент. Одета девушка была в короткий темно-синий жакет и простого покроя юбку из светло-серой ткани.

На овальном, утонченных линий нежно-смуглом лице, посвежевшем и порозовевшем на утреннем воздухе, самым привлекательным, без сомнения, являлись глаза: пара узких, удлиненного разреза глаз – тоненький ободок радужки сверкал чернотой, – а поверх неправдоподобно равномерными дугами выгнулись будто пером выписанные брови. Нос, пожалуй, был немного длинен, а губам, хоть четким и изящным, полагалось бы быть потоньше. Сейчас, однако, им придавали очарования мерцающие белизной, чуть разреженные зубы, которыми девушка, силясь справиться с лошадью, крепко зажала нижнюю губу, почти по-детски выдвинув круглый подбородок.

Было бы неверно утверждать, что лицо это отличалось броской, восхитительной красотой. Оно обладало привлекательностью молодости и радостной свежести, и привлекательность

⁴ На русский лад (*фр.*).

эту словно разглаживала, утишала, облагораживала состоятельная беспечность, благородное воспитание и холеная роскошь; представлялось несомненным, что узкие блестящие глаза, с избалованной досадой смотревшие на упирающуюся лошадь, через минуту снова примут выражение уверенного, само собою разумеющегося счастья... Рукава жакета, широко взбитые у плеч, плотно обхватывали запястья, и до сих пор ничего не производило на меня столь неотразимого впечатления изысканной элегантности, чем то, как эти узкие, матово-белые руки без перчаток держали поводья!

Я стоял на дороге, меня никто не окинул взглядом, коляска проехала мимо, и, когда снова набрала скорость и быстро исчезла, я медленно двинулся дальше. Во мне затрепетали радость и восхищение, но в то же время всплыла какая-то странная острая боль, горькое, распирающее чувство – зависти? любви? – я не смел додумать до конца – презрения к себе?

Пишу эти строки, и мне представляется жалкий попрошайка перед витриной ювелирного магазина, уставившийся в дорогостоящее мерцание сокровищ. В нем никогда не родилось бы отчетливое желание обладать драгоценностями, ибо уже одна смехотворно-невероятная мысль о подобном желании превратила бы его в посмешище в собственных глазах.

ХII

Хочу рассказать, как вследствие случайности через восемь дней я увидел молодую даму вторично – в опере. Давали «Маргариту» Гуно, и едва я вошел в ярко освещенный зал, чтобы занять свое место в партере, как она появилась с другой стороны в ложе у просцениума слева от пожилого господина. Попутно я отметил, что во мне при этом самым смехотворным образом ненадолго взмыл страх, какое-то смущение и что я по непонятной причине тут же отвел глаза на другие ярусы и ложи. Только с началом увертюры я решился рассмотреть пару несколько подробнее.

Пожилой господин в наглухо застегнутом сюртуке и черной бабочке с покойным достоинством сидел, откинувшись в кресле, одну руку в коричневой перчатке легко опустив на бархат бордюра ложи, другой же время от времени медленно поглаживая то бороду, то короткие поседевшие волосы. Зато молодая девушка – его дочь, без сомнения? – с живым интересом наклонилась вперед, положив обе руки, в которых держала веер, на бархатную обивку. Она то и дело быстро встряхивала головой, отбрасывая со лба, с висков распущенные светло-каштановые волосы. На ней была легкая блузка из светлого шелка, на поясе она закрепила букетик фиалок, а узкие глаза при резком освещении блестели еще большей чернотой, чем восемь дней тому назад. Кстати, я сделал наблюдение, что движение губ, подмеченное мною у нее давеча, свойственно ей вообще: ежеминутно она захватывала белыми, мерцающими, неплотно посаженными зубами нижнюю губу и слегка выдвигала подбородок. Это невинное лицо, лишенное какого бы то ни было кокетства, радостный, спокойный и вместе с тем блуждающий взгляд, нежная, белая шея, стянутая узкой шелковой ленточкой под цвет открытой блузки, жесты, когда она время от времени обращалась к пожилому господину, привлекая его внимание к чему-либо происходящему в оркестре, у занавеса, в ложах, – все производило впечатление невыразимо изящной, милой детскости, не имевшей при этом ничего трогательного или пробуждающего «сочувствие». То была возвышенная, уравновешенная детскость, вследствие элегантной состоятельности приобретшая уверенность и чувство превосходства, она свидетельствовала о счастье, не отличающемся никакой надменностью, скорее известным покоем, поскольку то само собой подразумевалось.

Умная, нежная музыка Гуно стала, мне показалось, удачным сопровождением к данной минуте, и я слушал, не обращая внимания на сцену, полностью отдавшись мягкому, задумчивому настроению, печаль которого без этой музыки, возможно, была бы болезненнее. Однако уже в первом антракте из партера поднялся человек где-то двадцати семи – тридцати лет, исчез

и вскоре с ловким поклоном появился в ложе, бывшей предметом моего внимания. Пожилой господин тут же протянул ему руку, юная дама, приветливо кивнув, подала свою, которую он пристойно поднес к губам, после чего хозяева настояли, чтобы гость присел.

Изъявляю готовность признать, что человек этот обладал самой бесподобной манишкой, какую мне довелось видеть в жизни. Она вся была на виду, поскольку жилет представлял собой лишь узкую черную ленту, а фрак на одной пуговице, приходившейся на низ живота, имел необычайно широкий вырез, начинавшийся от самых плеч. Но манишка, широкой черной бабочкой подпиральная высокий стоячий воротничок с загнутыми уголками, с двумя крупными, четырехугольными и также черными, расположенными на умеренном расстоянии друг от друга пуговицами, была ослепительной белизны и восхитительно накрахмалена, не утратив при этом гибкости, так как в области живота образовывала некое приятное углубление, дабы затем снова округлиться симпатичной блестящей выпуклостью.

Понятно, такая манишка требовала львиной доли внимания. Однако темя совершенно круглой головы покрывали очень коротко подстриженные светлые волосы, далее ее украшали пенсне без оправы и шнура, не слишком сильные, чуть курчавые усы потемнее, а одну щеку до виска – множество мелких дуэльных шрамов. Человек был безупречно сложен и двигался уверенно.

За вечер – ибо он остался в ложе – я сделал наблюдение, что ему в особенности свойственны две позы. Когда беседа с хозяевами замирала, он сидел, перебросив ногу на ногу, поместив бинокль на колени, удобно откинувшись, опускал голову, сильно выпячивал губы, дабы погрузиться в рассматривание кончиков усов, судя по всему, совершенно загипнотизированный этим зрелищем, причем медленно, покойно водил головой из стороны в сторону. Вступая же в разговор с юной дамой, он из почтения перемещал положение ног, однако откидывался еще больше, обхватывая при этом обеими руками подлокотники, как можно выше поднимал голову и обаятельно, с заметным чувством превосходства, довольно широко раздвигая губы, улыбался молодой соседке. Человек этот наверняка напоен сознанием удивительного счастья...

Если серьезно, я такое высоко ценю. Ни за одним его жестом, хоть их небрежность была все-таки дерзкой, не последовало мучительной неловкости; его преисполняло чувство собственного достоинства. А почему должно быть иначе? Ведь ясно: он, возможно, особо не выделяясь, идет верным путем, будет идти им, пока не достигнет ясной, полезной цели, живет в согласии со всеми и под солнцем всеобщего уважения. Сейчас вот сидит в ложе, беседует с молодой девушкой, чистому, изысканному очарованию которой, возможно, не вполне закрыт и надеяться на руку которой в таковом случае имеет все основания. Право, у меня нет никакого желания говорить что-либо презрительное об этом человеке!

А я? Что же я? Сажу внизу и довольствуюсь тем, что издали, из темноты мрачно наблюдаю, как изысканное, недостижимое существо беседует и смеется с этим ничтожеством! Изгнанный, безвестный, бесправный, чужой, *hors ligne*⁵, опустившийся, пария, жалкий в собственных глазах...

Я остался до конца и снова увидел всех троих в гардеробе, где, облачаясь в меховые пальто, они немного замешкались, чтобы переброситься парой слов со знакомыми – с какой-то дамой, с офицером... Молодой человек отправился к выходу вместе с отцом и дочерью, а я на небольшом расстоянии последовал за ними по вестибюлю.

Дождя не было, на небе виднелось несколько звезд, и они пошли пешком. Неторопливо беседуя, все трое шагали передо мной, а я двигался за ними на робкой дистанции – побитый, терзаемый остро болезненным, жалким, злорадным чувством... Идти им было недалеко; едва

⁵ Здесь: отверженный (*фр.*).

кончилась улица, как троица остановилась перед солидным домом с простым фасадом; сразу же после теплого прощания отец с дочерью исчезли, а провожатый, ускорив шаг, удалился.

На тяжелой резной двери дома можно было прочесть: «Советник юстиции Райнер».

ХШ

Я решил довести записи до конца, хотя от внутреннего отвращения мне то и дело хочется вскочить и бежать. Я тут копал, буравил до полного изнеможения! И сыт всем этим до тошноты!..

Еще не прошло и трех месяцев, как газеты известили меня о благотворительном базаре, который устраивался в городской ратуше – с участием благородного общества. Я прочел анонс с вниманием и сразу решил сходить.

Она будет там, думал я, возможно, в качестве продавщицы, а в таком случае ничто не помешает мне к ней приблизиться. Если спокойно вдуматься, я человек образованный, из хорошей семьи, и если нахожу эту фройляйн Райнер симпатичной, то как и господину с восхитительной манишкой, мне не возбраняется при okazji заговорить с ней, обменяться парой шуточных слов...

День, когда я отправился в ратушу, перед порталом которой теснились люди и экипажи, стоял ветреный и дождливый. Я проложил себе путь внутрь, уплатил за входной билет, передал на хранение пальто и шляпу и с некоторым усилием поднялся по широкой, усеянной людьми лестнице на второй этаж в праздничный зал, откуда мне навстречуплыли душные испарения вина, блюд, духов, запах елок, беспорядочный шум, смех, разговоры, музыка, выкрики и удары гонга.

Невероятно высокое и просторное помещение украшали разноцветные флаги, гирлянды, а вдоль стен, как и по центру, тянулись торговые лотки – открытые прилавки и палатки, – посетить которые во всю мочь зазывали мужчины в фантастических масках. Дамы, повсюду продававшие цветы, сувениры ручной работы, табак, всевозможные освежающие средства, также были в разнообразных костюмах. В конце зала на уставленной растениями эстраде гремела музыкальная капелла, а по узкому проходу между лотками медленно тянулась плотная людская масса.

Несколько ошалев от грохота музыки, лотерей и веселой рекламы, я присоединился к потоку, и не прошло и минуты, как увидел в четырех шагах слева от входа ту, которую искал. Стоя за небольшим, увешанным елочными венками прилавком, она торговала винами и лимонадами, нарядившись в итальянский костюм: пестрая юбка, белый прямоугольный головной убор и короткий лиф селянки Альбанских гор; рукава рубашки обнажали нежные руки до локтя. Несколько разгорячившись, бочком облокотившись на стол, она поигрывала пестрым веером и беседовала с несколькими господами, которые с сигаретами обступили лоток и среди которых я сразу заметил мне уже хорошо известного; он стоял около самого стола ближе всех к ней, заложив четыре пальца каждой руки в боковые карманы пиджака.

Я медленно проплелся мимо, исполненный решимости подойти, как только представится возможность, как только она несколько освободится... Ах! Сейчас выяснится, располагаю ли я еще остатками радостной уверенности и решительной находчивости, или же мрачность и полуотчаяние последних недель были оправданны! А почему я, собственно, волнуюсь? Откуда в связи с этой девушкой такие мучительные, убогие смешанные чувства – зависть, любовь, стыд и раздраженная горечь, – которые вот опять, признаюсь, опалили мне лицо? Легкость! Обаяние! Веселое, прелестное самодовольство, какое, черт подери, полагается талантливому, счастливому человеку! И с нервным усердием я обдумывал шуточный оборот, удачное словцо, итальянское приветствие, с которым обращусь к ней...

Прошло довольно много времени, прежде чем я в еле-еле движущейся толпе обошел зал; и в самом деле, когда снова очутился возле винной лавочки, господа, стоявшие полукругом, исчезли, и только хорошо известный мне человек облакачивался еще на прилавок, живейшим образом беседуя с юной продавщицей. Что ж, позволю себе прервать их беседу... Быстро свернув, я отделился от потока и стал у стола.

Что произошло? Ах, ничего! Почти ничего! Разговор оборвался, известный мне человек на шаг отступил, всеми пятью пальцами обхватил пенсне без оправы и шнура и принялся рассматривать меня сквозь эти самые пальцы, а юная дама смерила меня спокойным испытующим взглядом, захватив костюм и сапоги. Костюм отнюдь не новый, сапоги запачканы уличной грязью, я знал. Кроме того, я разгорячился, и, вполне возможно, волосы пришли в беспорядок. Я не был холоден, не был свободен, не был на высоте положения. Меня охватило чувство, будто я, чужой, бесправный, неотсюдошний, всем только мешаю и выставляю себя на смех. Неуверенность, беспомощность, ненависть, жалкость затмили взор... Одним словом, я осуществил свои бравые намерения, мрачно сдвинув брови и сиплым голосом коротко и почти грубо сказав:

– Бокал вина, пожалуйста.

Совершенно не важно, ошибся ли я, когда мне показалось, что я заметил, будто молодая девушка метнула на друга быстрый насмешливый взгляд. Молча, как молчали и остальные участники сцены, она подала мне вина, а я, не поднимая глаз, раскрасневшийся, подкошенный гневом и болью, несчастный, смешной, стоя между ними, сделал пару глотков, положил на стол деньги, растерянно поклонился, вышел из зала и бросился вон.

С той минуты со мной покончено, и крайне мало прибавляет к делу то обстоятельство, что несколько дней спустя я прочитал в газетах объявление:

«Имею честь покорнейше сообщить о помолвке моей дочери Анны с господином асессором д-ром Альфредом Витцнагелем. Советник юстиции Райнер».

XIV

С той минуты со мной покончено. Последние остатки сознания счастья, самодовольства затравлены, уничтожены, больше не могу, да, я несчастлив, признаюсь, я жалок и смешон! Но мне этого не выдержать! Я гибну! Застрелюсь – не сегодня, так завтра!

Моим первым побуждением, первым инстинктом была лукавая попытка вытянуть из истории побольше беллетристики, перетолковать свое убогое, мерзкое самоощущение в «несчастную любовь»: ребячество, само собой разумеется. От несчастной любви не погибают. Несчастливая любовь – вовсе не такая скверная позиция. В несчастной любви себе нравятся. Я же гибну оттого, что покончено с моей приятнью к самому себе, и покончено безнадежно!

Любил ли я, спросим наконец, любил ли я, собственно, эту девушку? Возможно... но как и зачем? Не была ли эта любовь уродливым порождением моего давно уже раздраженного и больного тщеславия, которое при первом же взгляде на недосыгаемую изысканность мучительно вспенилось и выкинуло зависть, ненависть, презрение к себе, для чего любовь, в свою очередь, стала просто предлогом, выходом и спасением?

Да, все дело в тщеславии! Разве еще отец не называл меня паяцем?

Ах, я был не вправе – я как никто другой – отходить в сторону, игнорировать «общество», это я-то, такой тщеславный, чтобы вынести его небрежение и неуважение, чтобы обойтись без его рукоплесканий! Но ведь речь идет не о праве? Ведь речь идет о необходимости? И моя бесполезная паяцеспособность не пришлась бы ни для какого социального положения? Но теперь я гибну именно из-за нее.

Ах, равнодушные было бы для меня своего рода счастьем... Но я не в силах быть равнодушным к себе, не в силах смотреть на себя иными глазами, кроме как глазами «людей», и

от стыда гибну – совершенно невинный... Неужели стыд всегда есть лишь загноившееся тщеславие?

Существует только одно несчастье: перестать нравиться самому себе. Себе не нравиться, вот оно, несчастье – да, я всегда очень отчетливо ощущал это! Все остальное – игра и обогащение жизни, при любом другом страдании можно превосходно любоваться собой, так бесподобно смотреться. Жалкий, отвратительный вид придают тебе только разлад с собой, стыд в страдании, потуги тщеславия...

Объявился старый знакомый, господин по имени Шиллинг, с которым мы некогда совместно служили обществу на крупной лесоторговой фирме г-на Шлифогта. У него возникли дела в моем городе, и он заехал ко мне – «скептический индивид», руки в карманах брюк, пенсне в черной оправе и реалистически терпеливое пожимание плечами. Шиллинг приехал вечером и сообщил:

– Я здесь на несколько дней.

Мы пошли в винную.

Шиллинг говорил со мной, будто я еще был тем самодовольным счастливецом, каким он меня знал, и, искренне полагая, что просто делится со мной своим радостным мнением, сказал:

– Честное слово, славную жизнь ты себе устроил, малыш! Независим, да что там, свободен! Черт подери, ей-богу, ты прав! Живем-то всего один раз, правда? Вообще-то, что человеку до всего остального? Должен сказать, ты из нас двоих оказался умнее. Впрочем, ты всегда был гениален...

И он, как прежде, начал изо всех сил нахваливать меня, говорить любезности, не подозревая, что я обмирал от страха не понравиться.

Я отчаянно силился отстоять то место, что занимал в его глазах, силился казаться, как прежде, на высоте, казаться счастливым и самодовольным – тщетно! Не было стержня, никакого куража, никакого самообладания, я говорил с ним, полный тусклого смущения и сторбившейся неуверенности, – и Шиллинг уловил это с невероятной быстротой! Было ужасно видеть, как он, в общем, готовый признать старого товарища счастливым, высокого пошиба человеком, начал пронизывать меня, смотреть с изумлением, набирать прохладцы, высокомерия, нетерпения, отвращения, и, в конце концов, он уже не скрывал своего ко мне презрения, сквозившего уже в каждой его grimase. Он рано ушел, а на следующий день несколько беглых строк уведомили меня, что ему все-таки пришлось уехать.

Все очень просто: люди слишком усердно заняты собой, чтобы серьезно желать составить мнение о других; все с пассивной готовностью принимают ту степень уважения, которую ты уверенно выказываешь самому себе. Будь каким хочешь, живи как хочешь, но демонстрируй дерзкую победительность, никаких стыдливых сомнений, и ни у кого не достанет нравственной твердости презирать тебя. В противном случае, если утратится согласие с собой, уйдет самодовольство, проявится презрение к себе, все в мгновение ока сочтут, что ты прав. Что до меня, со мной покончено...

Я заканчиваю, отбрасываю перо – полный отвращения, полный отвращения! Положить всему конец, но для «паяца» не будет ли это чуть не геройством? Боюсь, получится так, что я стану дальше жить, дальше есть, спать, немножко чем-то заниматься и потихоньку отупленно привыкать быть «несчастливым и жалким».

Боже мой, кто бы подумал, кто бы мог подумать, какое это проклятие, какое несчастье – родиться «паяцем»!..

Маленький господин Фридеман

I

Виновата была кормилица. Конечно, когда возникло первое подозрение, консулыша Фридеман настоятельно увещевала ее покончить с этим пороком – и что толку? Помимо питательного пива она ежедневно выдавала ей еще по стакану красного вина – и что толку? Неожиданно выяснилось, что девушка пристрастилась и к спирту, предназначенному для горелки, и прежде чем ей нашли замену, прежде чем ее можно было рассчитать, беда уже стряслась. Когда мать и три ее дочери-отроковицы как-то раз вернулись с выезда, маленький, около месяца от роду Йоханнес, свалившись с пеленального столика, лежал на полу и ужасающе тихо поскуливал, а рядом стояла ослушница.

Врач, с бережной твердостью осмотрев конечности скрюченного, подрагивающего крохотного существа, сделал очень, очень серьезное лицо; три дочери, рыдая, сбились в угол, а охваченная сердечным смятением госпожа Фридеман принялась громко молиться.

Бедной женщине еще до рождения ребенка пришлось пережить смерть супруга, нидерландского консула, которого унесла сколь внезапная, столь и тяжелая болезнь, и она была слишком сломлена, дабы вообще иметь способность надеяться, что у нее останется маленький Йоханнес. Лишь через два дня врач, ободряюще пожав ей руку, заявил, что непосредственная опасность, безусловно, миновала, и прежде всего, организм совершенно справился с легкой аффектацией мозга, что заметно хотя бы по взгляду, не имеющему уже того застывшего выражения, как в начале... Однако в остальном нужно посмотреть, как будет развиваться дело, и надеяться, так сказать, на лучшее, надеяться на лучшее.

II

Серый дом с высоким фронтоном, где рос Йоханнес Фридеман, стоял у северных ворот старинного, но далеко не самого крупного торгового города. Через входную дверь вы попадали в просторную, выложенную каменной плиткой прихожую, откуда наверх вела лестница с белыми деревянными перилами. На стенных драпировках гостиной второго этажа красовались поблекшие пейзажи, а вокруг тяжелого стола красного дерева, покрытого бордовой плюшевой скатертью, стояли стулья с прямыми узкими спинками.

Здесь у окна, под которым всегда пышно цвели красивые цветы, он часто ребенком сидел на маленькой скамеечке в ногах у матери и, глядя на гладкий седой пробор, доброе, кроткое лицо, вдыхая всегда исходивший от нее еле уловимый запах, слушал какую-нибудь волшебную историю. Или послушно смотрел на портрет отца, приветливого господина с седыми бакенбардами. Отец теперь на небесах, говорила мать, и ждет их всех к себе.

За домом находился небольшой садик, где, несмотря на вечное сладковатое марево, наплывавшее с соседней сахарной фабрики, летом обычно проводили добрую половину дня. Там стояло старое, узловатое ореховое дерево, и в его тени маленький Йоханнес, расположившись на низеньком деревянном табурете, часто колол орехи, а госпожа Фридеман и три взрослые уже сестры сидели под тентом серой парусины. Взгляд матери, однако, часто отрывался от рукоделия, с печальной приветливостью обращаясь на ребенка.

Он не был красив, маленький Йоханнес; скорчившись на табурете, с ловким усердием вскрывая ореховую скорлупу, с высокой выпирающей грудью, сильно выступающей спиной и очень длинными, тонкими руками, он являл собой в высшей степени странное зрелище. Узкие

кисти и стопы, впрочем, имели нежную форму; у него также были большие светло-карие глаза, мягко очерченный рот и чудесные светло-каштановые волосы. Лицо, хотя оно столь жалко вжималось в плечи, все же можно было назвать почти красивым.

III

Семи лет его отправили в школу, и годы полетели однообразно и быстро. Каждый день немного смешной, важной походкой, порой свойственной уродцам, он шествовал между ост-роверхими домами и лавками к старому школьному зданию с готическими сводами, а сделав дома уроки, читал какую-нибудь из своих книг с красивыми пестрыми обложками или возился в саду, пока сестры вместо хворой матери хлопотали по хозяйству. Они выходили и в свет, так как Фридеманы принадлежали к высшим кругам города, но замуж еще, к сожалению, не вышли, ибо были не то чтобы богаты и довольно-таки уродливы.

Время от времени Йоханнес тоже получал приглашения от сверстников, но общение с ними приносило ему мало радости. В играх их он принимать участие не мог, а поскольку приятели в обращении с ним всегда сохраняли смущенную сдержанность, дружбы выйти не могло.

Пришло время, и он стал часто слышать, как одноклассники на школьном дворе рассказывают об известных приключениях; внимательно, широко раскрыв глаза, мальчик слушал мечтательные разговоры о какой-нибудь девочке и молчал. «Для всего этого, – твердил он себе, – что остальных, судя по всему, переполняет, я не гожусь, это как гимнастические трюки и игра в мяч». Порой его это огорчало, но, в конце концов, он с незапамятных времен привык быть сам по себе и не разделять общих интересов.

И все-таки случилось, что Йоханнеса – ему уже исполнилось шестнадцать – внезапно потянуло к одной сверстнице. То была сестра классного товарища, светловолосое, безудержно-радостное существо, познакомился он с ней у ее брата. В присутствии девушки он испытывал странное смущение, а то, как она обращалась с ним – натянуто и искусственно-приветливо, – иногда вселяло глубокую печаль.

Как-то летним днем, прогуливаясь в одиночестве по городскому валу, за кустами жасмина он услышал шепот и осторожно подглядел между ветвей. На стоявшей там скамейке сидела та самая девушка, а рядом с ней – высокий рыжий юноша, которого он прекрасно знал; парень обнимал ее одной рукой и прижимался к губам поцелуем, на который она, хихикая, отвечала. Увидев это, Йоханнес Фридеман развернулся и тихо ушел.

Голова его как никогда глубоко вжалась в плечи, руки задрожали, а из груди к горлу поднялась острая, распирающая боль. Но он затолкал ее обратно и решительно распрямился как мог. «Ладно, – сказал он сам себе, – с этим покончено. Никогда в жизни больше не буду обо всем этом думать. То, что другим дает счастье и радость, мне может принести лишь горе и страдание. Тут я подвел черту. Дело решенное. Никогда в жизни».

Решение пошло ему на пользу. Он отказался от этого, отказался навсегда. Йоханнес отправился домой и взял в руки книгу, а может, скрипку, на которой, несмотря на уродливую грудь, выучился играть.

IV

Семнадцати лет он оставил школу, чтобы заняться торговлей, которую в его кругах вели просто все, и поступил учеником в крупную лесоторговую контору господина Шлифогта, внизу, у реки. Обращались с ним бережно, он со своей стороны был вежлив и предупредителен, и так мирно отлаженно текло время. Однако, когда ему шел двадцать второй год, после долгих страданий умерла мать.

Это стало для Йоханнеса Фридемана источником огромной боли, он нес ее долго. Он наслаждался ей, этой болью, отдавался ей, как отдаются большому счастью, питал ее тысячами детских воспоминаний и смаковал как первое сильное переживание.

Разве жизнь не хороша сама по себе, не важно, складывается ли она для нас таким образом, который принято называть «счастливым»? Йоханнес Фридеман чувствовал так и любил жизнь. Никому не понять, с каким задушевым тщанием он, сумев отказаться от величайшего счастья, какое она только может нам предложить, наслаждался доступными ему радостями. Весенняя прогулка в загородном парке, благоухание цветка, птичье пение – разве можно за это не быть благодарным?

Он понимал и то, что со способностью получать наслаждение тесно связано образование, более того, что образование и является таковой способностью, – он понимал это и повышал свое образование. Он любил музыку и посещал все концерты, что давали в городе. Со временем сам, хотя и смотрелся при этом необычайно странно, стал неплохо играть на скрипке и радовался каждому удававшемуся красивому и нежному звуку. Он много читал и постепенно развил литературный вкус, который, пожалуй, не мог разделить ни с кем в городе. Он был осведомлен о новинках дома и за рубежом, умел почувствовать ритмическую прелесть стихотворения, поддаться воздействию душевного настроения изящно написанной повести... О, почти можно утверждать, что он был эпикурейцем.

Он выучился понимать, что способностью давать наслаждение обладает все и что почти нелепо различать счастливые и несчастные мгновения. И он с величайшей готовностью принимал все свои ощущения, настроения, лелеял их – как мрачные, так и радостные, в том числе и несбывшиеся желания – томление. Он любил это томление ради него самого и говорил себе, что с осуществлением лучшее окажется позади. Разве сладостная, болезненная, смутная тоска и надежда тихих весенних вечеров не доставляют большего наслаждения, чем все сбывшееся, что могло бы принести лето? Да, он был эпикурейцем, маленький господин Фридеман.

Но этого, по-видимому, не знали люди, приветствовавшие его на улице с той сострада-тельной вежливостью, к которой он привык с незапамятных времен. Они не знали, что этот несчастный калека, с комичной важностью вышагивающий по улице в светлом пальто и лоснящемся цилиндре – как ни странно, он был несколько щеголеват, – нежно любит жизнь, полугонок утекающую от него без особых треволнений, однако исполненную тихого ласкового счастья, которое он умел обрести.

V

Однако главным увлечением господина Фридемана, его настоящей страстью являлся театр. Он обладал необычайно острым драматическим восприятием, и в случае мощного сценического воздействия, во время трагедийной развязки все его маленькое тело нередко начинала сотрясать дрожь. В первом ярусе городского театра у него было место, которое он занимал регулярно, иногда в сопровождении трех сестер. После смерти матери они одни вели свой и братнин старый дом, владея им совместно.

Замуж они, к сожалению, так до сих пор и не вышли, но уже давно вступили в тот возраст, когда обретается умеренность, так как Фредерика, старшая, обогнала господина Фридемана на семнадцать лет. Она и сестра Генриетта были слишком высоки и худы, а Пфифи, младшая, уродилась чрезмерно низкорослой и полной. Последняя, кстати, имела чудное обыкновение подергиваться при каждом слове, при этом уголки рта у нее покрывались продуктами слюноотделения.

Маленький господин Фридеман не особо заботился о трех девушках; они же крепко держались вместе и всегда были одного мнения. Особенно когда в кругу их знакомых случалась помолвка, они в один голос настаивали, что это о ч е н ь радостное известие.

Брат остался жить с ними, и когда покинул контору господина Шлифогта и обрел самостоятельность, переняв какое-то мелкое дело – что-то вроде агентства, не требовавшего особого попечения. Он занимал в доме несколько помещений нижнего этажа, чтобы подниматься по лестнице только к столу, так как по временам его немного мучила астма.

В свой тридцатый день рождения, светлый и теплый июньский день, он сидел после обеда в серой палатке в саду, подложив под голову новый валик, который смастерила ему Генриетта, с хорошей сигарой во рту и хорошей книжкой в руке. То и дело он отводил книгу в сторону, прислушивался к довольному чириканию воробьев на старом ореховом дереве, бросал взгляд на чистую, посыпанную гравием дорожку, ведущую в дом, и на газон с пестрыми клумбами.

Маленький господин Фридеман не носил бороды, и лицо его почти не изменилось, только черты стали чуть резче. Чудесные светло-каштановые волосы он гладко зачесывал на боковой пробор.

Он окончательно опустил книгу на колени, прищурившись, посмотрел в синее солнечное небо и сказал себе: «Что ж, прошло тридцать лет. Будет, может, еще десять или двадцать, кто знает. Они придут и уйдут так же тихо и бесшумно, как и минувшие, и я жду их с миром в душе».

VI

В июле того же года произошла смена коменданта округа, взбудоражившая всех. Дородного jovиального господина, долгие годы занимавшего этот пост, в обществе очень любили и отставке его опечалились. Бог весть вследствие каких обстоятельств, но только из столицы прибыл не кто иной, как господин фон Ринлинген.

Замена, впрочем, казалась неплохой, так как подполковник – женатый, но бездетный – снял в южном предместье весьма просторную усадьбу, из чего заключили, что он намерен принимать. Во всяком случае, слухи о том, что новый комендант изрядно богат, подтверждались в числе прочего и тем, что он привез с собой четверых посыльных, пять верховых и упряжных лошадей, ландо и легкую охотничью коляску.

Вскоре после приезда супружеская чета начала делать визиты в уважаемые семьи, их имя было у всех на устах; основной интерес вызывал, правда, не сам господин фон Ринлинген, а его жена. Мужчины были озадачены и пока не вынесли суждения; дамы же положительно не могли согласиться с тем, что представляла собой Герда фон Ринлинген.

– Что пахнет столичным воздухом, – как-то в разговоре заявила Генриетте Фридеман адвокатша Хагенштрём, – ну, это естественно. Она курит, ездит верхом – ладно. Но она держится не просто свободно, а с грубоватой развязностью, и это еще мягко... Она, видите ли, отнюдь не уродлива, ее даже не грех назвать хорошенькой. И все же ей решительно недостает женского очарования. Взгляд, смех, жесты – все лишено всего того, что любят мужчины. Она не кокетка, и, видит Бог, я последняя считаю это предосудительным; но возможно ли, чтобы в такой молодой женщине – а ей двадцать четыре года – естественная прелесть, привлекательность... отсутствовали начисто? Милочка, я, может, не слишком красноречива, но знаю, о чем говорю. Наши мужчины пока еще ошарашены. Вот увидите, через пару недель они отвернутся от нее совершенно дегутированные.

– Ну, уж она-то устроена прекрасно, – заметила барышня Фридеман.

– Да, ее муж! – воскликнула госпожа Хагенштрём. – А как она обращается с ним? Вы бы видели! Вы увидите! Я первая настаиваю, что замужней женщине следует в известной степени сторониться противоположного пола. Но как она ведет себя с собственным мужем? Обыкновенно смотрит на него с таким ледяным холодом и эдак свысока говорит «дорогой друг» – что просто возмутительно. Нужно при этом видеть его – корректный, подтянутый, рыцарствен-

ный, блестящий сорокалетний офицер, великолепно сохранился! Они женаты четыре года... Милочка...

VII

Местом, где маленькому господину Фридеману довелось впервые лицезреть госпожу фон Ринлинген, стала главная улица, на которой располагались почти одни магазины, и встреча эта произошла около обеда, он как раз шел с биржи, где тоже молвил словечко.

Он, ничтожный и вельможный, шагал подле оптового торговца Штефенса, необыкновенно высокого, кряжистого мужчины с выстриженными кругом бакенбардами и чудовищно толстыми бровями. Оба были в цилиндрах и из-за жары распахнули пальто. Ритмично постукивая тростями по тротуару, они говорили о политике, однако, дойдя примерно до середины улицы, оптовый торговец Штефенс вдруг сказал:

– Разрази меня гром, если это не Ринлинген.

– Что ж, весьма кстати, – своим высоким, несколько резким голосом ответил господин Фридеман и нетерпеливо всмотрелся вперед. – Я ведь еще так и не видел ее. А вот вам и желтая коляска.

И впрямь, сегодня госпожа фон Ринлинген выехала в желтой охотничьей коляске, она самолично правила двумя стройными лошадьми, а слуга, скрестив руки, сидел позади. На ней был широкий, очень светлый жакет и такая же светлая юбка. Из-под круглой соломенной шляпки с коричневой кожаной тесьмой выбивались светлые рыжеватые волосы, зачесанные за уши и низко на затылке стянутые в большой узел. Овальное лицо было матово-белым, а в уголках необычайно близко посаженных карих глаз залегли голубоватые тени. Верхнюю часть короткого, но хорошо вычерченного носа усыпали шедшие к ней веснушки; однако красив ли рот, понять было нельзя, так как она все время елозила нижней губой по верхней.

Когда коляска приблизилась, оптовый торговец Штефенс чрезвычайно почтительно поздоровался; маленький господин Фридеман, большими глазами внимательно глядя на госпожу фон Ринлинген, тоже приподнял шляпу. Она опустила хлыст, легонько кивнула и медленно проехала мимо, поводя головой по сторонам и осматривая дома и витрины.

Через несколько шагов оптовый торговец сказал:

– Выезжала на прогулку и возвращается домой.

Маленький господин Фридеман, уставившись себе под ноги, ничего не ответил. Затем вдруг поднял взгляд на оптового торговца и спросил:

– Что вы сказали?

И господин Штефенс повторил свое проницательное замечание.

VIII

Три дня спустя в двенадцать часов Йоханнес Фридеман вернулся с привычной прогулки домой. В половине первого обедали, а он еще хотел на полчаса зайти к себе в «кабинет», находившийся сразу за входной дверью, направо. Вдруг прихожую пересекла служанка и, подойдя к нему, сказала:

– У вас посетители, господин Фридеман.

– У меня? – спросил он.

– Нет, наверху, у барышень.

– Кто же?

– Госпожа и господин подполковник фон Ринлинген.

– О! – промолвил господин Фридеман. – Но тогда следует...

И поднялся по лестнице. Наверху он пересек лестничную площадку и уже взялся за ручку высокой белой двери, что вела в «пейзажную», как вдруг замер, сделал шаг назад, развернулся и медленно удалился той же дорогой. И хотя господин Фридеман был совершенно один, он громко сказал:

– Нет, лучше не надо.

Он спустился в «кабинет», уселся за письменный стол и взял в руки газету. Через минуту, однако, опустил ее и посмотрел вбок, в окно. Так он сидел, пока пришедшая горничная не сообщила, что накрыто; тогда он поднялся в столовую, где сестры уже его ожидали, и занял место на своем стуле, где лежали три сборника нот.

– Знаешь, Йоханнес, кто у нас был? – начала разливавшая суп Генриетта.

– И кто же? – спросил он.

– Новый подполковник с женой.

– Вот как? Любезно.

– Да, – кивнула Пфифи, и уголки рта у нее увлажнились, – по-моему, весьма приятные люди.

– Во всяком случае, – решила Фредерика, – с ответным визитом затягивать нельзя. Предлагаю пойти послезавтра, в воскресенье.

– В воскресенье, – откликнулись Генриетта и Пфифи.

– Ты ведь пойдешь с нами, Йоханнес?

– А как же иначе! – воскликнула Пфифи и передернулась.

Господин Фридеман не услышал вопроса и с тихим, боязливым выражением на лице продолжал есть суп. Он словно к чему-то прислушивался, к каким-то жутким звукам.

IX

На следующий вечер в городском театре давали «Лоэнгина» и собралось все образованное общество. Небольшой зал был забит до отказа и наполнен гулом, запахами газа духов. Однако все бинокли, как из партера, так и из ярусов, были устремлены на тринадцатую ложу, сразу справа от сцены, поскольку сегодня там впервые появился господин фон Ринлинген с женой, и все получили возможность наконец-то как следует их рассмотреть.

В безупречном черном костюме со сверкающе белой, выступающей углом манишкой рубашки войдя в свою ложу – тринадцатую, – маленький господин Фридеман отпрянул к двери, провел рукой по лбу, а ноздри его на мгновение судорожно расширились. Затем, однако, он опустил в кресло, слева от госпожи фон Ринлинген.

Пока он усаживался, она смотрела на него долгим внимательным взглядом, выдвинув при этом нижнюю губу, а затем отвернулась обменяться парой слов со стоявшим позади супругом. Это был высокий крупный мужчина с зачесанными кверху усами и добродушным загорелым лицом.

Когда началась увертюра и госпожа фон Ринлинген перегнулась через бордюр, господин Фридеман скосил на нее быстрый, торопливый взгляд. Она надела светлый вечерний туалет, даже – единственная из присутствующих дам – с небольшим декольте. Взбитые рукава платья были очень широки, белые перчатки доходили до локтя. Сегодня в ней появилось что-то роскошное, накануне, когда она была в белом жакете, не так бросающееся в глаза; грудь вздымалась полно и медленно, а узел светлых рыжеватых волос низко, тяжело опустился на затылок.

Господин Фридеман сделался бледен, намного бледнее обычного, а на лбу под гладко зачесанными светло-каштановыми волосами проступили мелкие капельки. С покоившейся на красном бархате бордюра левой руки госпожа фон Ринлинген стянула перчатку, и он все время – с этим ничего нельзя было поделать – видел округлую, матово-белую руку, по которой, как и по кисти без украшений, шли бледные-бледные голубые прожилки.

Запели скрипки, в их пение с грохотом ворвались духовые, пал Тельрамунд, в оркестре воцарилось всеобщее ликование, а маленький господин Фридеман сидел неподвижно, бледный, тихий, низко втянув голову в плечи, прижав указательный палец к губам, а другую руку заложив за отворот фрака.

Пока падал занавес, госпожа фон Ринлинген встала и вышла с супругом из ложи. Господин Фридеман, не глядя в ее сторону, проследил за ними, легонько промокнул носовым платком лоб, резко встал, подошел к двери, ведущей в коридор, снова вернулся, сел на свое место и застыл в прежней позе.

Когда прозвенел звонок и соседи вернулись, он почувствовал, что глаза госпожи фон Ринлинген направлены на него, и, не желая того, поднял к ней голову. Взгляды их встретились, но она вовсе не отвернулась, а продолжала без тени смущения внимательно смотреть на него до тех пор, пока он, поверженный, униженный, не опустил глаза. При этом он стал еще более бледен, в нем взмыл странный сладковато-едкий гнев... Началась музыка.

К концу этого действия случилось так, что госпожа фон Ринлинген уронила веер и тот упал на пол возле господина Фридемана. Оба нагнулись одновременно, но она подняла веер сама и с улыбкой – насмешливой – сказала:

– Благодарю.

Их головы очутились совсем близко, и ему пришлось на мгновение вдохнуть теплый запах ее груди. Лицо его исказилось, он весь съежился, а сердце застучало так отвратительно тяжело и гулко, что прервалось дыхание. Он посидел еще с полминуты, затем отодвинул кресло, тихо встал и тихо вышел.

Х

Преследуемый звуками музыки, он прошел по коридору, принял в гардеробе цилиндр, светлое пальто, трость и по лестнице спустился на улицу.

Был мирный теплый вечер. В свете газовых фонарей, устремив высокие фронтоны в небо, на котором светло и мягко блестели звезды, молча стояли серые дома. Шаги редких прохожих, встречавшихся господину Фридеману, отдавались от тротуара. Кто-то с ним поздоровался, но он не заметил; господин Фридеман низко опустил голову, а высокая, угловатая грудь ходила ходуном, так тяжело он дышал.

– Боже мой! Боже мой! – время от времени тихонько бормотал он.

Ужаснувшимся, перепуганным взглядом он заглянул в себя и увидел, как мир его чувств, за которым он так ласково ухаживал, о котором всегда так мягко, умно заботился, теперь взорвался, вздыбился, взвихрился... И вдруг, совершенно потерявшись, в припадке головокружения, опьянения, тоски и муки, он прислонился к фонарному столбу и судорожно прошептал:

– Герда!

Вокруг по-прежнему было тихо, ни души. Маленький господин Фридеман взял себя в руки и двинулся дальше. Он дошел до конца довольно круто спускавшейся к реке улицы, где располагался театр, и по главной свернул на север, к дому...

Как она на него смотрела! Да как! Она ведь вынудила его опустить глаза! Унизила своим взглядом! Разве она не женщина, а он не мужчина? Ведь ее необычные карие глаза при этом буквально трепетали от удовольствия!

Он снова почувствовал, как в нем поднимается эта бессильная сладострастная ненависть, но затем припомнил, как его коснулась ее голова, как он вдохнул запах ее тела, еще раз остановился, запрокинул уродливое туловище, втянул сквозь зубы воздух и опять в полной растерянности, отчаянии пробормотал:

– Боже мой! Боже мой!

И снова, омываемый душным вечерним воздухом, он машинально, медленно двинулся дальше по безлюдным гулким улицам, пока не очутился наконец перед домом. В прихожей он чуть помедлил,дохнул стоявшим там прохладным подвальным запахом и прошел в «кабинет».

Он уселся у раскрытого окна за письменный стол и уставился на крупную желтую розу, которую кто-то поставил ему в стакан с водой. Он взял ее, закрыв глаза, вдохнул аромат, однако затем усталым и печальным жестом отложил в сторону. Нет, нет, все кончено! Что ему теперь этот аромат? Что ему теперь все, до сих пор составлявшее его «счастье»?..

Он развернулся и стал смотреть на тихую улицу. Время от времени, отдаваясь эхом, приближались и удалялись чьи-то шаги. Блестели неподвижные звезды. Как он смертельно устал и обессилен! В голове стало пусто, и отчаяние постепенно растворилось в большой, мягкой печали. В памяти промелькнуло несколько стихотворных строчек, в ушах снова зазвучала музыка «Лоэнгринга», он опять увидел перед собой госпожу фон Ринлинген, ее белую руку на красном бархате и погрузился в тяжелый, лихорадочно-глухой сон.

XI

Часто он был близок к пробуждению, но боялся этого и всякий раз вновь погружался туда, где не было сознания. Однако когда совсем рассвело, он широко раскрыл глаза и осмотрелся затравленным взглядом. Все ясно стояло перед душой, страдание будто и не прерывалось сном.

Голова отяжелела, глаза горели; однако умывшись и смочив лоб одеколоном, он почувствовал себя лучше и снова тихо сел у окна, которое так и осталось открытым. Было еще очень рано, около пяти. Иногда пробегал мимо какой-нибудь подмастерье пекаря, больше никого. В доме напротив еще были опущены шторы. Но защebetали птицы, и небо осветилось голубым. Наступило чудесное воскресное утро.

Ощущение покоя и уверенности снизошло на маленького господина Фридемана. Чего он боится? Разве что-то изменилось? Да, нужно признаться, вчера случился скверный припадок; но тем все и кончится! Еще не поздно, он еще может избежать гибели! Следует воздерживаться от любого повода, который мог бы опять вызвать припадок; он чувствовал в себе эти силы. Чувствовал силы все преодолеть и полностью подавить в себе...

Пробило половину восьмого, и вошла Фредерика; на круглый стол возле кожаного дивана у задней стены она поставила кофе.

– Доброе утро, Йоханнес, – сказала она. – Твой завтрак.

– Спасибо, – ответил господин Фридеман. И еще: – Дорогая Фредерика, мне очень жаль, но визит вам сегодня придется отдать одним. Я не очень хорошо себя чувствую, чтобы сопровождать вас. Плохо спал, болит голова, короче, вынужден просить...

– Жаль, – откликнулась Фредерика. – Но тебе нельзя совсем манкировать визитом. Однако ты и впрямь неважно выглядишь. Хочешь мой карандаш от мигрени?

– Спасибо, – покачал головой господин Фридеман. – Пройдет.

И Фредерика ушла.

Стоя у стола, он медленно пил кофе и жевал роголик. Он был доволен собой, горд своей решимостью. Допив кофе, он взял сигару и снова сел у окна. Завтрак пошел ему на пользу, он почувствовал себя счастливым, почувствовал надежду. Господин Фридеман взял книгу и принялся читать, курить и, шурясь, поглядывать на солнце.

Улица теперь оживилась: в окно врвался грохот колясок, людской гомон и дребезжание конки; но за всем этим слышалось птичье щебетанье, а с сияюще-синего неба наплывал мягкий теплый воздух.

В десять часов он услышал шаги сестер в прихожей, скрип входной двери, потом увидел, как три барышни прошагали мимо окна, однако не обратил на это особого внимания. Прошел час: он чувствовал себя все счастливее и счастливее.

Его охватил какой-то задор. Какой воздух, как щебечут птицы! А что, если пойти погулять? Но вдруг без перехода, со сладким страхом всплыла мысль: «А если пойти к ней?» И самым настоящим мускульным напряжением подавив в себе все, что испуганно предупреждало, с блаженной решимостью он прибавил: «Я иду к ней!»

Он надел черный воскресный костюм, взял цилиндр, трость и, часто дыша, быстро направился через весь город в южное предместье. Не замечая никого вокруг, погруженный в экзальтированную прострацию, он при каждом шаге старательно поднимал и опускал голову, пока не очутился в каштановой аллее перед красным особняком, на входной двери которого можно было прочесть: «Подполковник фон Ринлинген».

XII

Тут его охватила дрожь, и сердце судорожно, тяжело забилося в груди. Но он пересек входную площадку и позвонил. Вот и решилось, назад пути нет. «Пусть все идет как идет», – подумал он. Все в нем вдруг мертвенно стихло.

Дверь распахнулась, вышедший к нему на площадку слуга принял визитную карточку и заторопился с ней вверх по лестнице, застеленной красной дорожкой. На эту дорожку господин Фридеман неподвижно тарасился до тех пор, пока вернувшийся слуга не объявил, что госпожа просит оказать любезность и подняться.

Наверху у двери в салон, где он ставил трость, господин Фридеман кинул взгляд в зеркало. Лицо было бледным, волосы над покрасневшими глазами прилипли ко лбу, а рука, державшая цилиндр, неукротимо дрожала.

Слуга открыл дверь, и господин Фридеман вошел. Он очутился в довольно большой, сумрачной комнате; шторы на окнах оказались задвинуты. Справа чернел рояль, а по центру вокруг круглого стола были расставлены обитые коричневым шелком кресла. На левой торцевой стене над диваном в тяжелой золотой раме висел пейзаж. Стены тоже задрапированы темным. В глубине, в эркере стояли пальмы.

Прошла минута, прежде чем госпожа фон Ринлинген откинула справа портьеру и бесшумно подошла к нему по толстому коричневому ковру. На ней было простое платье в черно-красную клетку. Сноп света из эркера, где плясала пыль, упал прямо на тяжелые рыжие волосы, так что они на мгновение вспыхнули золотистым огнем. Она испытующе всмотрелась в него своими странными глазами и, как всегда, выдвинула нижнюю губу.

– Сударыня, – начал господин Фридеман, глядя на нее вверх, так как доходил ей лишь до груди, – я со своей стороны также хотел нанести вам визит. К сожалению, когда вы почтили моих сестер, я отсутствовал и... весьма о том сожалею...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.